

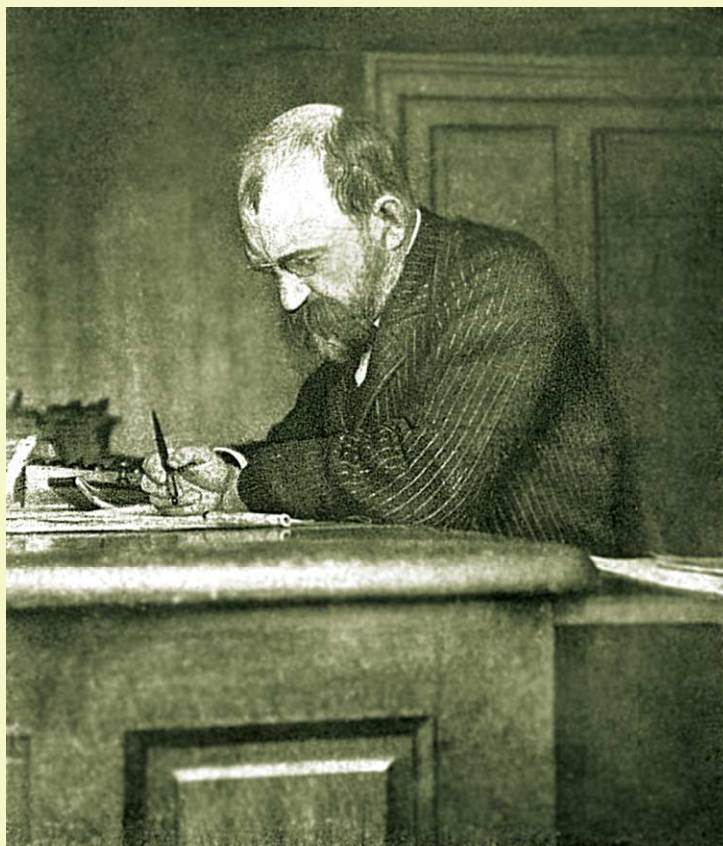
ПИСЬМА  
А. И. ЭРТЕЛЯ

Подъ редакціей и съ предисловіем  
М. О. Гершензона



Типографія Т-ва И.Д.Сытина, Москва, Пятницкая ул. соб. д.

1909



А. Зурку.

## Міровоззрѣніе А. И. Эртеля.

Если читателю раньше другихъ попадутся на глаза тѣ отрывки изъ писемъ Эртеля, гдѣ рѣчь идетъ о достовѣрности познанія, о свободѣ воли и другихъ вопросахъ теоретической философіи, онъ получитъ невыгодное представленіе о писавшемъ. Дѣйствительно, Эртель не обладалъ ни даромъ отвлеченнаго мышленія, ни даже сколько-нибудь серьезной философской образованностью, какъ это онъ и самъ охотно признаетъ. И тѣмъ не менѣе, онъ былъ замѣчательный мыслитель, и мысли, постепенно выработанныя имъ, представляютъ въ совокупности чрезвычайно оригинальную и цѣнную систему идей. Сила его мышленія — въ той области, которую Кантъ отводитъ *практическому* разуму.

Эртелю нужно было міровоззрѣніе, какъ рабочему человѣку нужна техника его ремесла, какъ тому, кто садится играть въ карты, нужно знать правила игры. Онъ былъ, прежде всего, человѣкъ дѣла. Ему дана была отъ природы огромная жизнеспособность, точно въ немъ билъ неизсякаемый родникъ, напоившій до-полна его чувства и волю. Нельзя вообразить себѣ большаго контраста, нежели тотъ, который представляла эта полнокровная натура среди худосочной и вялой русской интеллигенціи 80-хъ годовъ. По своему отношенію къ жизни люди дѣлятся на три разряда: одни пассивно — ропща или безропотно — несутъ тяжесть, которую накладываетъ на нихъ жизнь, другіе болѣе всего увлечены созерцаніемъ жизни, третьи

по внутренней потребности активно творять жизнь. Эртель былъ яркимъ представителемъ этого третьяго типа — дѣлателей жизни. О немъ ошибочно было бы сказать, что онъ былъ даровитымъ писателемъ или даровитымъ агрономомъ: онъ обладалъ въ сущности однимъ талантомъ — рѣдкимъ талантомъ жить, и все остальное было отсюда. Я думаю, что и писать онъ началъ потому, что, томясь въ вынужденномъ бездѣйствіи, Инстинктивно стремился хоть воображеніемъ жить въ непрерывной смѣнѣ явленій и дѣйствій, — а что сельское хозяйство удовлетворяло его именно кипучей дѣятельностью, безотносительно къ ея цѣли, это онъ многократно самъ говоритъ. Какъ всякій талантъ опредѣляется любовью и жаждой творчества, такъ и онъ страстно любилъ жизнь и былъ полонъ энергіи на дѣло. Все въ жизни было ему интересно, и никакое дѣло не казалось скучнымъ; его письма поражаютъ этой свѣжестью воспріятія и неутомимой бодростью воли.

Такому человѣку нельзя быть безъ міровоззрѣнія. Дѣлать жизнь — не поле перейти. Жизнь сложна, запутана, многосторонняя; дѣлать жизнь — трудная профессія, требующая большихъ знаній, а главное — опредѣленныхъ пріемовъ. Но врожденный талантъ не боится трудностей своего ремесла, напротивъ — онъ его увлекаютъ. Эртель зналъ практическую жизнь, какъ немногіе; стоило ему по обстоятельствамъ своей жизни попасть въ близость съ какой-нибудь группой явленій, онъ не успокоивался, пока не изучалъ ее до дна, — будь это крестьянскій бытъ или коннозаводство, и все, что онъ зналъ, онъ зналъ твердо, отчетливо, до мелочей. Но одного знанія мало: надо еще умѣть; надо постигнуть всѣ тайны ремесла и выработать себѣ вѣрные, цѣлесообразныя правила. Въ примѣненіи къ жизненному творчеству это значитъ пріобрѣсти міровоззрѣніе.

Таково и было міровоззрѣніе Эртеля. Оно носитъ совершенно практической характеръ. Это система идей, въ которой учтены всѣ силы, какими строится жизнь, — какъ матеріальныя, такъ и нравственныя, — и которая въ цѣломъ представляетъ собою какъ бы руководство поведенія. Эртеля нимало не занимаетъ ни научный анализъ того, что есть, ни мечты идеалистовъ о

томъ, что должно быть; ему нужно только знать, какъ жить. Этотъ вопросъ, разумѣется, объемлетъ два первыхъ, но не въ полномъ размѣрѣ. Очевидно, что для правильного рѣшенія задачи о томъ, какъ жить, нужно уяснить себѣ, во-первыхъ, каковы неизмѣнныя свойства сущаго, во-вторыхъ, каковы его непреодолимыя скрытыя тенденціи; иначе рѣшеніе будетъ ошибочнымъ. Именно такъ, совершенно практически, стоялъ этотъ вопросъ для Эртеля. Все его міровоззрѣніе представляетъ собою отвѣтъ на двойственный вопросъ: что *позволяетъ* сдѣлать жизнь, и чего она *требуетъ*? Жизнь для него — заранѣе данное; было бы безцѣльно противодѣйствовать ея свойствамъ или игнорировать ея тенденціи; все, что можетъ сдѣлать человекъ, — это сознательно направлять дѣйствіе ея свойствъ съ цѣлью ускорить осуществленіе заложенныхъ въ ней возможностей. Но для этого надо прежде всего безпристрастно и добросовѣстно изучить и тѣ, и другія. Итогомъ этого изученія и было міровоззрѣніе Эртеля.

Оно сложилось въ немъ въ промежутокъ приблизительно съ 1888-го по 1893 годъ и въ цѣломъ осталось неизмѣннымъ до его смерти. Въ предлагаемыхъ письмахъ, разумѣется, не предназначавшихся для печати, оно выражено съ полнотою и ясностью, не оставляющими ничего желать; его можно безъ натяжекъ изложить въ видѣ стройной системы, какою оно въ дѣйствительности и было.

Чисто — практическій, такъ сказать, дѣловой характеръ этой системы обнаруживается уже въ томъ, какими предѣлами Эртель ограничиваетъ поле своего изслѣдованія. Онъ изучаетъ не космосъ, а исторію, не бытіе, а человѣческую дѣйствительность. Вопросъ объ изначальной силѣ, движущей міръ, и о конечной цѣли этого движенія, онъ оставляетъ безъ разсмотрѣнія. Былъ моментъ, въ самомъ началѣ его исканій, когда этотъ вопросъ всталъ предъ нимъ во всей своей остротѣ; онъ спрашивалъ себя: зачѣмъ зло и страданіе въ мірѣ, для чего нужно Богу терзать все живущее такими несказанными муками? И тогда обычный выходъ — смиреніе передъ невѣдомымъ, передъ видимымъ безсмысліемъ исторіи — казался ему нелѣпостью; тогда онъ на минуту почувствовалъ, что въ этомъ

вопросъ — все, что, не рѣшивъ его, нельзя жить. — Но только на минуту; такія натуры не утопаютъ въ метафизикѣ. Ему слишкомъ хотѣлось жить, чтобы метафизическое оправданіе жизни могло долго занимать его; да и по существу его воля не нуждалась въ такомъ оправданіи: онъ слишкомъ любилъ самый процессъ жизни, чтобы даже безцѣльность ея могла поколебать эту любовь. Онъ очень скоро и рѣшительно раздѣлался со своими сомнѣніями: цѣль бытія намъ невѣдома, да и не нужно ея знать; ее знаетъ тотъ, кто правитъ жизнью, съ насъ же довольно — жить. Однако изъ этого не слѣдуетъ заключать, что Эртель былъ раціоналистомъ. Напротивъ, какъ разъ живое чутье дѣйствительности научило его тому, что въ основѣ всего видимаго есть элементъ невидимый, но не менѣе реальный, и что не учитывать его въ практическихъ расчетахъ значитъ рисковать ошибочностью всѣхъ расчетовъ. Оттого позитивизмъ, какъ міровоззрѣніе, казался ему нестерпимой бессмыслицей. Онъ полагалъ, что существуетъ двоякое знаніе: строго-научное, обязательное для всѣхъ, и не научное, субъективное, составляющее основу религіи, метафизики и искусства; это второе знаніе онъ называетъ органическимъ, и горячо отстаиваетъ его законность подъ тѣмъ условіемъ, чтобы оно не посягало на разрѣшеніе проблемъ, подлежащихъ вѣднію точнаго знанія, и не противорѣчило выводамъ послѣдняго. Какой-нибудь связи между обѣими сферами знанія онъ не устанавливалъ; его міровоззрѣніе характеризуется строгимъ дуализмомъ.

Основной тезисъ его философіи можно формулировать такъ. Жизнь рѣзко распадается на явленія двухъ родовъ: на явленія, не зависящія отъ нашей воли, а зависящія исключительно отъ воли того великаго неизвѣстнаго, которое мы называемъ Богомъ; къ такимъ явленіямъ мы должны относиться съ безусловной покорностью, потому что здѣсь протестъ и борьба безцѣльны и могутъ только ослабить бунтующаго; и, во-вторыхъ, на явленія, зависящія отъ нашей воли и устраняемыя: по отношенію къ нимъ борьба и умѣстна, и необходима. Первое правило поведенія — научиться различать эти двѣ области, чтобы не ошибаться въ томъ, гдѣ нужна резиньяція

и гдѣ борьба; въ смѣшеніи этихъ двухъ областей — источникъ величайшихъ, опаснѣйшихъ заблужденій. Въ жизни двѣ задачи: одна съ очевидными данными, другая — съ цѣлымъ рядомъ неизвѣстныхъ; нормально-мыслящій человекъ рѣшаетъ только первую, а вторую или оставляетъ нерѣшенной, или рѣшаетъ субъективно, вѣрою, не обязательною для другихъ. Область резиньяціи не такъ велика, какъ область борьбы; во всякомъ случаѣ, борьбы хватитъ на всю жизнь, и это собственно и есть жизнь: борьба, какъ рѣшеніе задачи съ очевидными данными. Такой нормально-мыслящій человекъ — необходимо оптимистъ; недовольство жизнью происходитъ только отъ неумѣнія разграничивать обѣ области.

Итакъ, ареною, на которой единственно можетъ и должна осуществляться наша сознательная дѣятельность, является общественная жизнь; бороться можно и должно только съ тѣмъ зломъ, которое коренится въ условіяхъ общежитія. Спрашивается: каковы же природныя силы, дѣйствующія на этой аренѣ, и въ чемъ можетъ заключаться наше сознательное вмѣшательство?

Формы общежитія, по мысли Эртеля, представляютъ собою равнодѣйствующую безчисленныхъ интересовъ, страстей и привычекъ, другими словами, логическій выводъ изъ непреложныхъ историческихъ причинъ; въ этомъ смыслѣ исторія человечества — стихійный процессъ. Но стоитъ присмотрѣться нѣсколько внимательнѣе, и за всѣми страстями и интересами, за всей такъ называемой «логикой событій», открывается присутствіе иной движущей силы — нравственнаго сознанія людей. Въ человѣческой душѣ заложено неискоренимое стремленіе къ любви, къ всеобщему благоволенію. Это стремленіе есть единственная реальность исторіи; всѣ остальные силы, дѣйствующія въ исторіи, условны и измѣнчивы; безусловно только стремленіе къ любви, и только въ немъ — назначеніе человека. Здѣсь Эртель является вѣрнымъ послѣдователемъ Толстого. Онъ отказывается мыслить о сущности Божества; въ одномъ мѣстѣ онъ даже прямо говоритъ, что Богъ представляется ему не реальностью, а нѣкоторымъ иксомъ — «можетъ-быть, знакомъ реальности, а можетъ-быть, и знакомъ абстракціи»; един-

ственное, что онъ считаетъ возможнымъ утверждать, это — что стремленіе къ любви есть отраженіе Бога въ человѣческой душе. \*)

Такимъ образомъ, идеальное направленіе жизни намъ дано непосредственно: это любовь. Казалось бы, достаточно дать волю въ себѣ этому Божественному инстинкту, достаточно направить всѣ силы на утвержденіе любви, чтобы достигнуть блага. Но опытъ показываетъ, что это не такъ: одной любви мало для правильнаго устроенія жизни. Кромѣ способности любить, человѣку присуща другая высшая способность — познавать, и благо не можетъ быть достигнуто иначе, какъ совмѣстнымъ дѣйствіемъ обѣихъ этихъ способностей. Это кардинальный пунктъ философіи Эртеля; поэтому и намъ слѣдуетъ разсмотрѣть его подробно.

Способность познаванія, говоритъ Эртель, составляетъ главное отличіе человѣка отъ животныхъ, ему обязано человѣчество всѣми своими успѣхами въ борьбѣ съ природою и съ безсознательнымъ началомъ въ себѣ; но сама по себѣ работа этой способности не ведетъ къ благу. Можно представить себѣ такой случай, когда отдѣльный человѣкъ дѣйствительно обезпечилъ себѣ счастье при помощи одного разума, но это возможно только подъ условіемъ полнаго обособленія отъ людей, такъ какъ при малѣйшей попыткѣ связать эту отдѣльную счастливую жизнь съ жизнью другихъ людей обнаруживается вся фальшивость и мертвенность достигнутаго блага. То же самое наблюдается и въ общественной жизни, когда она направляется исключительно разумомъ; тогда могутъ пышно расцвѣсти науки, могутъ быть достигнуты огромные успѣхи въ борьбѣ съ природою, но жизнь исказится, такъ какъ способность познаванія нисколько не мѣшаетъ людямъ пожирать другъ друга.

Но совершенно такъ же и одна способность любви не обезпечиваетъ блага. Она вноситъ теплоту, бодрость и жизнерадостность въ личную жизнь и въ людскія отношенія; но

---

\*) Мы увидимъ ниже, что, на ряду съ добромъ, Эртель придаетъ абсолютный смыслъ также истинѣ и красотѣ.



отдѣленная отъ способности познаванія, она опять-таки можетъ составить благо только отдѣльнаго человѣка, несомѣстимое съ благомъ общества. Какъ тамъ источникомъ зла, является эгоизмъ, такъ здѣсь — глупость, и въ обоихъ случаяхъ достигается не благо, а зло.

Отсюда Эртель выводитъ такой историческій законъ: никакое религіозно-нравственное ученіе, какъ бы высоко оно ни было, не можетъ привести людей къ благу безъ союза съ наукою и искусствомъ. Подтвержденіе этого закона онъ видитъ въ исторіи всѣхъ религій, и прежде всего — въ исторіи христіанства. Высокое и разумное ученіе Христа только потому исказилось и породило весь ужасъ и тьму среднихъ вѣковъ, что оно первоначально попало въ руки людей, хотя глубоко искреннихъ и нравственныхъ, но невѣжественныхъ, пренебрегшихъ наукою и искусствомъ древняго міра. Если бы не была насильственно погублена классическая образованность, зло, сопутствовавшее христіанству, было бы невозможно: невозможны были бы дикіе богословскіе споры и весь бредъ догматики, невозможны были бы кровавыя гоненія, инквизиція, процессы вѣдьмъ и пр. Одно нравственное ученіе можетъ давать благо цѣлой группѣ людей — народу или общинѣ — только въ исключительныя минуты; такъ было и съ христіанствомъ въ первыя его времена, въ эпоху гоненій. Но при нормальномъ порядкѣ жизни высокой подъемъ чувства непременно ослабѣваетъ, и тутъ, если нравственное ученіе не имѣетъ у себя на стражѣ науки и искусства, оно быстро покрывается такимъ слоемъ суевѣрій и предрасудковъ, который дѣлаетъ его неузнаваемымъ.

Поэтому ошибочно ждать улучшенія жизни отъ одной любви, отъ нравственности; нѣтъ, мы должны одинаково дорожить и тѣмъ, что развиваетъ въ людяхъ способность любви, и тѣмъ, что развиваетъ способность познаванія, и, наоборотъ, все то, что тормозитъ дѣйствіе той или другой способности, равно достойно отрицанія и борьбы. Благо — не въ одномъ стремленіи жить по завѣту Христа: оно вездѣ, гдѣ есть живая дѣятельность на общую пользу, подвигаемая любовью къ людямъ, хотя бы самъ дѣятель былъ атеистъ и не вѣрилъ въ

Христа; мало того: даже дѣятельность, временно направленная къ явному злу, въ конечномъ итогѣ послужить благу; такъ, власть, вѣками накопленная въ какомъ-нибудь правительствѣ для разбойничьихъ цѣлей, въ свое время послужить прогрессивнымъ цѣлямъ. Вольно или невольно, науки и искусства неизбѣжно служатъ Божьему дѣлу на землѣ, и ученый химикъ или политико-экономъ, талантливый поэтъ или скульпторъ — въ такой же мѣрѣ апостолъ Христа, какъ и любой изъ Его учениковъ, потому что они разрыхляютъ и удобряютъ ниву Христа. Пусть они не могутъ сказать ничего новаго послѣ Него, но, идя совершенно инымъ путемъ, нежели указано Имъ, и даже враждуя съ Нимъ, они дѣлаютъ Его же дѣло, на тысячу новыхъ ладовъ обосновывая Его положенія, высказанныя въ свое время только интуитивно.

Итакъ, основное правило поведенія, сознательно направляемаго къ благу, гласитъ: люби съ разумомъ. Отсюда вытекаетъ для Эртеля цѣлый рядъ важныхъ практическихъ указаній.

Этимъ правиломъ, прежде всего, исключаются всякіе *насильственные* приемы въ борьбѣ съ неправдою. Если нашъ долгъ — бороться со всѣмъ, что препятствуетъ любви и разуму, то по существу ясно, что мы не можемъ пользоваться въ этой борьбѣ такимъ оружіемъ, которое само подрываетъ любовь, ибо, сознательно употребляя насиліе, я тѣмъ самымъ вношу въ свою душу зло, именно превратное понятіе о моемъ правѣ, — другими словами, покупаю временное благо цѣною абсолютнаго зла. Это вѣрно не только по отношенію къ личной борьбѣ со зломъ, но и по отношенію къ общественной. Общество располагаетъ могущественными средствами къ водворенію правды: при помощи законодательной мѣры или института оно ставитъ личность въ такія условія, которыя постепенно измѣняютъ ея взгляды въ желательномъ смыслѣ; такъ повліяла, на примѣръ, отмѣна крѣпостнаго права на взгляды крѣпостниковъ. Дѣйствуя такъ, общество неминуемо должно пользоваться принужденіемъ; но, во-первыхъ, это принужденіе точно такъ же не должно носить насильственнаго характера, т.-е. осуществляться при помощи штыковъ и казней, во-вторыхъ, оно дол-

жно примѣняться только въ тѣхъ случаяхъ, когда общественное мѣропріятіе имѣетъ за себя ясно-сознанныя большинствомъ справедливыя понятія: тогда принужденіе по существу является уже не насиліемъ, а какъ бы врачебнымъ средствомъ, долженствующимъ поставить закостенѣвшее въ старыхъ понятіяхъ меньшинство въ условія, благопріятныя для душевнаго выздоровленія.

Далѣе, изъ общаго правила — «любить съ разумомъ» — вытекаетъ сознаніе, что никакое отвлеченное начало, какъ бы оно ни было возвышено, нельзя примѣнять къ жизни въ чистомъ видѣ: это было бы такъ же неразумно, какъ вводить въ растеніе чистый азотъ, хотя азотъ и нуженъ растенію. Жизнь сложна и запутана, вся она въ цѣломъ — результатъ исторической необходимости, люди не одинаковы и не ангелы, и каждая личность — результатъ наслѣдственныхъ пороковъ и добродѣтелей. Такъ какъ мы принуждены осуществлять истину не въ безвоздушномъ пространствѣ, а въ исторической средѣ, то всякое осуществленіе ея неминуемо должно быть компромиссомъ, соглашеніемъ между безусловной идеей и исторической необходимостью. Истина возьметъ свое, ея движеніе не удержиимо, но движется она не прямо, а зигзагами, медленными усиліями, постоянными сдѣлками съ бытомъ, съ наслѣдственными чувствами и вѣрованіями, и отдѣльный человекъ, стремясь ускорить это движеніе, долженъ точно такъ же дѣйствовать не напроломъ, а въ условіяхъ возможнаго. Спасеніе одной нравственностью можно, но вѣдь дѣло идетъ не объ эгоистическомъ спасеніи, а разъ мы подъ нравственной жизнью понимаемъ такую жизнь среди людей, среди ихъ привычекъ, заблужденій, страстей, ошибокъ и правды, то очевидно, что надо изучить этотъ матеріалъ и считаться съ нимъ. Опредѣляя свое поведеніе только въ интересахъ своей души, только по закону правды, мы неминуемо причинимъ тяжелый вредъ людямъ. И здѣсь опять-таки непреложнымъ мѣриломъ является тріединая цѣнность — любви, знанія и искусства. Хорошо все то, что содѣйствуетъ ихъ совокупному развитію, нехорошо то, что росту одной изъ этихъ силъ приносить въ жертву одну или обѣ другія. Не лгать, не убивать, любить другъ друга —

хорошо, ибо это не противорѣчить ни моему благу, ни благу всѣхъ людей и только выгодно для успѣховъ добра, истины и красоты. Но вотъ другой рядъ истинъ: собственность — зло, государственность — зло, раздѣленіе труда — зло. Итакъ, должно ли отказаться отъ нихъ? Нѣтъ, не должно, ибо, признавая въ нихъ несомнѣнное зло, я вмѣстѣ съ тѣмъ вижу, что отрицаніе ихъ *въ нынѣшнихъ условіяхъ исторической дѣйствительности* причинитъ людямъ великій ущербъ: безъ собственности въ современныхъ условіяхъ не будетъ досуга, а стало—быть, не будетъ и наукъ и искусствъ, безъ раздѣленія труда науки и искусства также невозможны, наконецъ, безъ государственности, опять-таки въ современныхъ условіяхъ, сильный пожретъ слабого. Эти нормы, осуждаемыя объективнымъ, нравственнымъ закономъ, до поры до времени нужны, потому что онѣ хотя до нѣкоторой степени умѣряютъ страсти и даютъ почву наукѣ и искусству. Разумѣется, это не исключаетъ частичной борьбы съ ними. Не отказываясь отъ этихъ, пока необходимыхъ, устоевъ нынѣшней цивилизаціи, я долженъ, однако, непрестанно помнить, что они противорѣчатъ нравственному закону, и стремиться къ тому, чтобы и въ своей частной жизни какъ можно меньше находить опору въ собственности или государственности, и какъ можно больше колебать эти устои въ сознаніи людей. Но отказываться отъ этихъ орудій я могу лишь въ той мѣрѣ, въ какой это не противорѣчитъ общему благу. Если я химикъ и мнѣ нужна лабораторія, то я поступлю неразумно, распродавъ свои тигли и реторты, чтобы помочь нуждающимся; совершенно такъ же люди сейчасъ не въ правѣ отказаться отъ собственности, потому что она обезпечиваетъ нѣкоторыя вѣчныя блага человечества. Въ одной изъ своихъ записныхъ книжекъ Эртель однажды такъ обосновалъ эту мысль: «Мнѣ думается, что раздать имѣніе нищимъ — не вся правда. Нужно, чтобы во мнѣ и въ дѣтяхъ моихъ сохранилось то, что есть добро: знаніе, образованность, цѣлый рядъ истинно хорошихъ привычекъ, а это *все* по большей части требуетъ не одной головной передачи, а и наслѣдственной. Отдавши имѣніе — отдамъ ли я дѣйствительно все, чѣмъ обязанъ людямъ? Нѣтъ, благо-

даря чужому труду я, кромѣ имѣнія, обладаю и еще многимъ, и этимъ многимъ долженъ подѣлиться, а не зарывать его въ землю. Вышло такъ, что «чужимъ трудомъ», кромѣ массы зла, сдѣлано и много хорошаго. Справедливо ли будетъ, возвративши результаты этого труда нищимъ, погасить и то хорошее, что уже есть и что выросло и поддерживается этимъ чужимъ трудомъ? Отдавши имѣніе, я отдамъ только часть, а погасивши въ себѣ потребность знанія, таланта, истинной образованности, я безслѣдно уничтожаю другую часть чужого — ту, которая давала досугъ моему отцу, дѣду, прадѣду и т. д.»

Безусловное пониманіе истины, условное осуществленіе ея — это одинъ изъ завѣтныхъ тезисовъ Эртеля. Всѣмъ существомъ онъ чувствовалъ, что прямолинейная принципиальность — холодна, мертвенна, что теплота жизни — только въ компромиссѣ. Онъ не устаетъ повторять это въ своихъ письмахъ къ В. Г. Черткову, который стоитъ на діаметрально-противоположной точкѣ зрѣнія, и чьи письма поэтому, въ силу рѣзкаго контраста, превосходно освѣщаютъ міровоззрѣніе Эртеля. Особенно часто останавливается здѣсь Эртель на вопросѣ о личномъ героизмѣ, о самоотреченіи, необходимость котораго отстаивалъ В. Г. Чертковъ. Полное самоотреченіе въ глазахъ Эртеля — такая же нелѣпость, какъ и всякое вообще безусловное осуществленіе истины. Личную святость подвижниковъ и даже Христа онъ считаетъ, хотя и высокимъ по стимулу и благотворнымъ по вліянію на людей, но ненормальнымъ явленіемъ; это яркій свѣтъ, но фантастическій, не тотъ нормальный солнечный свѣтъ, при которомъ совершается жизнь. Не нужно отрекаться отъ личныхъ отношеній, потому что, будучи правильно поставлены, эти отношенія не мѣшаютъ служенію людямъ, но, напротивъ, помогаютъ ему, приобщая человѣка, къ міровой радости и міровой скорби, тогда какъ отсѣченіе личнаго ростка мертвитъ душу. Любитъ одинаково своего ребенка и чужого — противоестественно, и не нужно приучать себя къ этому: достаточно, если твое личное чувство не погашаетъ въ тебѣ справедливости, которая не позволяетъ зарѣзать чужого ребенка ради удобствъ своего. Подвижничество такъ же ненормально, какъ и его противо-

положность — безусловный эгоизмъ; «норма есть въ той серединѣ, Когда ростокъ личной жизни цвѣтетъ и зрѣетъ въ полной силѣ, не заглушая вмѣстѣ съ тѣмъ любви ко всему живущему». И особенно, особенно надо остерегаться провозглашать подвигъ обязательной нормой для всѣхъ людей. Истина — одна, но она имѣетъ столько же формъ, сколько есть людей, потому что достигается она не однимъ разсужденіемъ, а всей совокупностью индивидуальной жизни; между тѣмъ какъ законы логики общи для всѣхъ, характеры, темпераменты, натуры разнообразны до безконечности, и это разнообразіе личностей нельзя свести къ схемѣ, нельзя подвести подъ одинъ общій знаменатель, хотя бы этимъ знаменателемъ былъ Христосъ. Поэтому, прежде чѣмъ дѣлать изъ своего пониманія истины регламентацію для другихъ, человѣкъ долженъ строго разобрать, что въ его истинѣ есть истина для всѣхъ; и что истина только для него самого, такъ какъ совпадаетъ съ его личными склонностями. Это опять приводитъ къ отрицанію героизма, какъ общей нормы; въ подвижникѣ, въ Буддѣ, въ Христѣ мы должны отличать общечеловѣческую мудрость отъ побужденій личныхъ, свойственныхъ только Буддѣ или только Христу; тогда окажется, что одни элементы ихъ ученія и жизни пригодны для всѣхъ людей, другіе же, проистекающіе изъ исключительнаго склада ихъ личности, принадлежать только имъ и не могутъ быть нормою для всѣхъ людей.

Таковы, по мысли Эртеля, цѣлесообразные приемы общественной и личной борьбы, направленной къ водворенію истины. Эта тактика характеризуется, какъ легко видѣть, гармоническимъ сочетаніемъ идеализма съ практичностью. Эртель одинаково конкретно ощущаетъ и неудержимую поступательную силу истины, и трудно побѣдимую косность исторической среды. Яркимъ образчикомъ этого крѣпкаго двухсторонняго чутья можетъ служить его письмо къ М. Н. Чистякову отъ 19 апрѣля 1889 года. Оно касается предѣловъ и средствъ личнаго воздѣйствія человѣка на человѣка въ видахъ наученія истинѣ. Мысль Эртеля та, что «всякое органически сложившееся міровоззрѣніе весьма туго, а то и со-

всѣмъ не поддается доводамъ разума, — оно поддается всѣмъ разнообразнѣйшимъ впечатлѣніямъ жизни, и по чутьчкѣ, съ страшной медленностью»; пытаться сразу повернуть человѣка на путь истины — значитъ только вызвать въ немъ раздраженіе, которое разъединяетъ людей и поэтому есть зло. Напротивъ, надо брать отъ человѣка то доброе, что онъ можетъ дать, не гнушаясь его закоренѣлостью, и вмѣстѣ съ тѣмъ надо убѣждать его ровно настолько, насколько онъ способенъ выслушать безъ ожесточенія, — и тутъ, больше чѣмъ доводы, помогаетъ любовь, размягчающая сердцевину чужой души. Мы видѣли, что жизнь, по Эртелю, — борьба за общее благо. Мы видѣли, какія средства борьбы онъ отвергаетъ, какія признаетъ цѣлесообразными. Практическій выводъ изъ своихъ размышленій о роли личности въ общественной борьбѣ онъ формулировалъ такъ: «Всячески расширять сознание людей; примыкать къ тѣмъ общественнымъ группамъ и учрежденіямъ, которыя, не прибѣгая сами къ зоологическимъ средствамъ, могутъ способствовать упраздненію зоологіи; всячески поддерживать тѣ мѣропріятія современнаго государства, которыя ведутъ къ той же цѣли; неустанно занимать позиціи, съ которыхъ историческимъ ходомъ вещей вытѣснена государственность, — вотъ, мнѣ думается, желательный и справедливый типъ общественнаго поведенія».

Въ совершенномъ согласіи со своей основной мыслью о тріединной высшей цѣнности — добра, истины и красоты — рѣшалъ онъ и другую часть задачи: вопросъ объ отношеніи человѣка къ самому себѣ. Отчасти мы это уже видѣли выше, гдѣ шла рѣчь о самоотреченіи. Основными біологическими свойствами всякой нормальной личности онъ считаетъ, во-первыхъ, радость жить, во-вторыхъ, стремленіе къ творчеству. Жизнь — роскошный пиръ, и въ здоровомъ организмѣ неистощимы средства для воспріятія всей прелести жизни; надо беречь въ себѣ эту волю жить и этотъ вкусъ къ жизни. Высшая же радость жизни — потому что главнѣйшая потребность организма — есть творчество, т.-е. процессъ, ведущій стремленіе къ достиженію: моментъ, когда они смыкаются, это и есть счастье. Къ чему стремиться — это другой вопросъ, но

внѣ творчества нѣтъ жизни и внѣ достиженія нѣтъ счастья. А первое условіе жизнеспособности — внутренняя свобода, неподчиненность сознанія какой бы то ни было предвзятой схемѣ: не впрягаться ни въ какія сектантскія оглобли, будь то аскетизмъ, эпикурейство или что-нибудь другое. Не грѣхъ выпить съ пріятелемъ бутылку шампанскаго; если въ каждую минуту вынимать изъ кармана нравственный аршинъ и прикидывать его къ желанію или поступку, это свяжетъ жизнь мелочной регламентаціей и умалитъ свободу; но грѣхъ пить, грѣхъ «жить въ ѣду, вино и пр.», потому что это подрываетъ физическую или умственную жизнеспособность. Это опять приводитъ насъ къ основной мысли Эртеля: нельзя умерщвлять въ себѣ и въ людяхъ ни одну изъ способностей, дарованныхъ человѣку, чтобы отражать въ себѣ Бога, т.-е. истину, добро и красоту.

Я изложилъ сжато основныя идеи этого своеобразнаго міровозрѣнія, которое по справедливости можетъ быть названо «философіей дѣла». Мысль Эртеля была очень ясна — можетъ быть, даже слишкомъ ясна — и во всякомъ случаѣ всегда вѣрна себѣ, т.-е. послѣдовательна. На протяженіи предлагаемой книги писемъ читатель встрѣтитъ многообразныя примѣненія этихъ идей ко всевозможнымъ частнымъ вопросамъ, никогда не противорѣчація системѣ, напротивъ, только иллюстрирующія или уясняющія ее. На трехъ такихъ частныхъ вопросахъ необходимо остановиться въ виду ихъ особенной важности. Можно было бы аргюи рѣшить, какъ смотрѣлъ Эртель на задачи искусства. Искусство для него, прежде всего, — глашатай правды не преходящей правды нынѣшняго дня, а правды всечеловѣческой и абсолютной. Это не значитъ, что оно должно витать въ эмпирияхъ; напротивъ, оно должно вмѣшиваться въ самую будничную дѣйствительность, но, изображая ее, оно должно творить надъ нею судъ во имя непреходящей правды. Однако роль искусства, по мысли Эртеля, не исчерпывается введеніемъ нравственныхъ истинъ въ сознаніе людей; не менѣе важны и другія двѣ его задачи: расширеніе сознанія путемъ правильнаго изображенія быта, характеровъ, душевныхъ движеній, и то, что можно назвать «питаніе кра-



сотою», т.-е. непосредственное эстетическое наслаждение. Настоящее искусство тѣмъ и велико въ глазахъ Эртеля, что оно совмѣщаетъ въ себѣ всѣ три высшія цѣнности: добро, истину и красоту.

Чрезвычайно любопытенъ и опять совершенно послѣдователенъ его взглядъ на церковь, въ частности на православную церковь, особенно по контрасту съ прямолинейной принципиальностью его собесѣдника — В. Г. Черткова. Эртель не только осязательно чувствовалъ историческую плоть дѣйствительности, — онъ умѣлъ и дорожить какъ долей блага, еще живущей въ ней, такъ и ея красотой. Онъ понималъ, что золотые купола и благовѣсть колоколовъ — «преходящія формы той великой сущности, которая живетъ въ душѣ cadaго человѣка», и что, какъ бы нелѣпы ни казались намъ эти формы, лучше мириться съ ними, нежели жертвовать тѣмъ, безъ чего человекъ мертвъ. Народъ сроднился съ этими формами, другихъ мы не можемъ ему предложить, а безъ культа религія пока — и долго еще — существовать не можетъ; къ тому же эти формы удовлетворяютъ въ немъ, кромѣ религіознаго, еще другое могущественное чувство — художественное.

Въ кругу нашей либеральной, раціоналистической интеллигенціи восьмидесятыхъ годовъ такой взглядъ былъ чудовищной ересью. Но еще гораздо рѣзче разошелся Эртель со своимъ поколѣніемъ, еще больше опередилъ его, подойдя вплотную къ намъ, — въ самомъ больномъ вопросѣ русской жизни, въ вопросѣ о борьбѣ съ властью. Эти его мысли всего полнѣе изложены въ письмѣ къ А. В. Погожевой отъ 26 декабря 1892 г. Эртель произноситъ суровый приговоръ надъ русской интеллигенціей. Онъ судить ее не морально — и въ этомъ его отличіе отъ насъ, — а исключительно съ практической точки зрѣнія; онъ показываетъ, что ея протестъ, обусловленный только нервическимъ раздраженіемъ или, какъ онъ выражается, «лирическимъ отношеніемъ къ вещамъ», безсиленъ, не ведетъ къ цѣли, ибо паеосъ самъ по себѣ не есть какая-либо сущность, а только форма проявленія, сущностью же всякой борьбы является, прежде всего, личное религіозно-философское убѣжденіе протестующаго и затѣмъ глубокое пониманіе истори-

ческой дѣйствительности: «Основной рычагъ общественнаго поведенія долженъ быть установленъ безъ всякаго отношенія къ «злобѣ дня», — онъ долженъ опредѣляться не статистикою, но положеніемъ крестьянскаго быта, не тѣми или иными дефектами государственнаго хозяйства и вообще политики, но философски-религіознымъ пониманіемъ своего личнаго назначенія», — ибо послѣдовательна и плодотворна можетъ быть только принципальность, коренящаяся въ этомъ незыблемомъ грунтѣ человѣческаго духа. Итакъ, первое, что нужно русскому интеллигенту, по мысли Эртеля, это проникнуться ученіемъ Христа, безъ чего невозможна религіозная культура личности, — и затѣмъ историческій тактъ: опять примѣненіе основной мысли Эртеля о безусловномъ пониманіи истины и условномъ дѣйствіи къ осуществленію ея. Идеологію народничества, ученіе о долгѣ, обязанности и расплатѣ, Эртель безусловно отвергалъ, не только изъ фактическихъ соображеній — потому что интеллигенція не виновата въ своемъ привилегированномъ положеніи, и потому что эта привилегія — весьма сомнительное благо, — но и по существу: не нужно никакой другой нормы для опредѣленія нашихъ отношеній къ народу, кромѣ той нравственной нормы, которою вообще должны опредѣляться отношенія между людьми, — закона любви, установленнаго Христомъ. Для практика-Эртеля характерно, что онъ тутъ же спѣшитъ подкрѣпить эту нравственную норму другою, раціоналистическою: ссылкой на историческій законъ, въ силу котораго самодовлѣющее потребленіе плодовъ цивилизаціи въ кругу замкнутой группы, въ данномъ случаѣ — интеллигенціи, ведетъ къ вырожденію этой группы и къ гибели самой культуры.

Такова въ главныхъ чертахъ философія Эртеля. Вдумчивый читатель уже съ самаго начала нашего изложенія могъ замѣтить ея основной грѣхъ: невѣрную постановку вопроса. Эртель впалъ въ ту самую ошибку, въ которой упрекалъ другихъ: онъ придалъ универсальный характеръ субъективнымъ элементамъ своего міровоззрѣнія. Лично не нуждаясь въ метафизическомъ осмысленіи жизни — такъ какъ занимательность самой жизни, взятой въ себѣ, вполне удовлетворяла его, —

онъ съ легкимъ сердцемъ отказался за всѣхъ людей сначала отъ надежды, а затѣмъ и отъ потребности метафизически осмыслить жизнь. Это наложило на его міровоззрѣніе печать грубаго дуализма. Міръ, и мы въ немъ, движется къ какой-то предустановленной цѣли; мы ея не знаемъ, не узнаемъ никогда, да, въ сущности, намъ и не зачѣмъ ее знать: у насъ достаточно собственныхъ ресурсовъ, чтобы жить, — это принципы добра, истины и красоты, неизгладимо начертанные въ человѣческомъ духѣ. Такимъ образомъ, жизнь обособляется отъ всецѣлаго творенія, она — островъ, управляющійся по собственнымъ законамъ. При такомъ пониманіи жизни добро, истина и красота теряютъ абсолютный смыслъ, и если Эртель выдаетъ ихъ за подлинныя атрибуты Бога, за отраженія Его въ человѣкѣ, то это — произвольное утвержденіе, не оправдываемое всѣмъ ходомъ его размышленія. Для Эртеля между абсолютнымъ и жизнью нѣтъ моста, для него не является такимъ мостомъ и Христосъ, въ которомъ онъ видитъ только реальное воплощеніе своихъ высшихъ земныхъ цѣнностей — добра, истины и красоты (высшій «положительный типъ», какъ онъ очень точно выражается въ одномъ мѣстѣ). На этой тріединой цѣнности онъ и строитъ все зданіе своей системы, въ полной увѣренности, что этихъ моральныхъ предпосылокъ вполне достаточно для установленія разумныхъ «правилъ поведения». Бытіе для него не единый божественный процессъ, а механическое скрещеніе двухъ раздѣльныхъ процессовъ: «химія, механика, фізіологія, то-есть ихъ законы — своимъ чередомъ, а свѣтъ разума, сила духа — своимъ», и его Богъ, ведущій оба процесса, — только формальная связь между ними, нѣчто въ родѣ того, что въ политикѣ называется «личной уніей». Въ письмахъ Эртеля этотъ дуализмъ обнаруживается только какъ общій духъ его системы, но рѣдко формулируется принципиально, и всегда только мимоходомъ, какъ въ приведенныхъ сейчасъ словахъ. Но вотъ краснорѣчивый отрывокъ изъ его дневника, помѣченный сентябремъ 1888 года.

«Какъ ни доказывай Кантъ ограниченность разума и призрачность добываемыхъ имъ результатовъ въ области абсолют-

наго, человѣкъ вѣчно будетъ стремиться къ угадыванію «великой тайны» и путемъ логическихъ построеній, путемъ воображенія и «восхищенія духа», какъ говаривали пророки, добиваться рѣшенія неразрѣшимой загадки. Вотъ представляется мнѣ разумъ силой подобной теплотѣ и свѣту и что онъ проистекъ изъ движенія. И когда нѣчто оторвалось отъ солнца и составило нашу планету, то это нѣчто имѣло въ себѣ задатки стихій и задатки жизни; и, разлагаясь въ движеніи, оно освобождало изъ себя огонь, воду, камни, металлы, и, наконецъ, растительную и фізіологическую жизнь. И фізіологическая жизнь была вначалѣ грубо соединена съ веществомъ и разумъ тлѣлъ въ веществѣ точно искра, покрытая пепломъ, точно раскаленный уголь въ золѣ; но по мѣрѣ времени уголь разгорался, искра вспыхивала и подчиняла въ себѣ вещество. Этой сущностью, этимъ скрытымъ свойствомъ вещество точно само себя познавало. И познаетъ до сихъ поръ. До сихъ поръ фізіологическая жизнь еще не подчинилась разуму, до сихъ поръ человѣческая душа точно во снѣ, заключена въ грубую скорлупу вещества, подчиняется призракамъ, игрѣ воображенія, предрасудкамъ, страстямъ, инстинктамъ, но эта оболочка отпадаетъ мало—по—малу и въ туманахъ стихійности, въ туманахъ бессознательнаго все больше и больше начинаетъ сіять сознающій себя разумъ. — Сила разума, сила жизни не можетъ умереть съ человѣкомъ, въ которомъ временно проявляется; она точно теплота, точно свѣтъ, точно электричество — освобождается отъ проявляющаго ее вещества и проявляется въ другомъ, въ третьемъ, въ четвертомъ. Но можетъ ли эта сила быть въ свободномъ состояніи, существовать внѣ вещества, то-есть, иными словами, можетъ ли быть безсмертіе въ смыслѣ личнаго, индивидуальнаго безсмертія? Я вижу зеркало съ вогнутыми стеклами и тогда только вижу сильный, сосредоточенный свѣтъ; я вижу двѣ сухія дощечки и тогда только вижу огонь, когда дощечки буду тереть одна объ другую. Электрическая искра вызывается движеніемъ колеса... Я пью, ѣмъ, сплю, ощущаю свѣтъ, теплоту — и вотъ я живъ и сѣмя мое плодотворно, не буду пить и ѣсть, не буду воспринимать въ

себѣ вещество — не буду живъ и не буду имѣть жизненнаго сѣмени. Жизнь, понимаемая въ прямомъ ея смыслѣ, то-есть въ фیزیологическомъ, есть соединеніе огня со свѣтильней; въ спичкѣ такое-то и такое вещество, въ свѣтильнѣ такое-то, и въ коробочкѣ, о которую зажигаю спичку — такое-то, и вотъ изъ соединенія этихъ трехъ горитъ свѣча и прогоняетъ тьму ночи. Ясное дѣло, что смерть человѣка — это разложеніе на элементы, на различные роды вещества, это значитъ — свѣча горѣла и погасла — какъ въ Аннѣ Карениной. О, это не значитъ, что что-нибудь исчезло въ человѣкѣ! Все цѣло! Все экономная природа распредѣлила по надлежащимъ мѣстамъ и ввела въ обычный свой круговоротъ: туда фосфоръ и туда известь, туда сахаръ и туда газы. Это значитъ, что мы не увидимъ такого вотъ человѣка, да человѣкъ этотъ не будетъ больше сознавать себя живущимъ. Но то, что было въ немъ, то цѣло. — Разумъ — вѣнецъ жизни, разумъ — точно синій огонекъ надъ тлѣющими угольями. Можетъ быть жизнь и можетъ не быть разума, ибо, хотя разумъ отлагается изъ жизни, но не всякая жизнь отлагаетъ его. Жизнь Христа, жизнь Ньютона, жизнь Канта, жизнь Лавуазье — химика — эти жизни отлагали отъ себя разумъ; вещество въ нихъ сгорало точно хорошія и сухія дрова, и пламя высоко поднималось отъ дровъ, озаряя тьму безсознательнаго. Жизнь идіота, жизнь растенія, животнаго, наконецъ, жизнь щедринскаго Іудушки — такія жизни не воспламеняютъ разума, ибо его нѣтъ въ нихъ, ибо онъ въ тяжкомъ и крѣпкомъ плѣну у самодовлѣющаго и не сознающаго себя вещества. — Какія же функціи разума? — Познавать самого себя и, выражаясь метафорически, познавать Бога: то-есть проявленія исконной и великой причины бытія. Чѣмъ же разумъ познаетъ? Ибо, если бы не было фیزیологическій жизни, онъ не могъ бы быть и познавать, и если бы не было вещества — онъ не могъ бы быть и познавать, и если бы не было того начала, изъ котораго все произошло — онъ не могъ бы быть и познавать. Значитъ, онъ познаетъ тѣмъ самымъ, изъ чего все произошло и чѣмъ все начало быть, значитъ, разумъ есть свойство той великой причины, которая называется Богомъ. Разумъ не есть Богъ, но

«онъ былъ въ началѣ у Бога и все чрезъ него начало быть, и безъ него ничто не начало быть, что начало быть» и, конечно, «разумъ — свѣтъ человѣковъ и свѣтъ свѣтитъ» во тьмѣ безсознательнаго, и тьма безсознательнаго «іе объяла его». Задача человѣческой жизни (въ смыслѣ поведенія) въ томъ и заключается, чтобы «не погашать духа Божія», чтобы по мѣрѣ человѣческихъ средствъ господствовать надъ тьмою безсознательнаго. И въ этомъ — доступное человѣку счастье. Ибо ребенку — счастье новая игрушка, Мольтке — новая побѣда, Манилову — дружба и мостъ съ лавками и товарами, Плюшкину — ассигнація, влюбленному — первая ночь, и такъ далѣе до безконечнѣйшаго разнообразія, но человѣкъ разумный испытаетъ всѣ эти разряды счастья и вмѣстѣ съ авторомъ Эклезіаста найдетъ, что все это «суета суетъ и томленіе духа». И вотъ эти утѣхи и это «пьянство жизнью» отпадутъ одно за другимъ, и на днѣ останется одно чистое золото — «не погашать духа Божія» и въ этомъ находить благо. «Во многой мудрости много печали и познаніе размножаетъ скорбь» — это вѣрно; съ этой точки зрѣнія лучше быть «пьянымъ» въ жизни и не видать оборотной стороны «утѣхъ», но, къ сожалѣнію, или къ счастью, разумъ требуетъ своего, и анализируетъ, и допрашиваетъ жизнь, и отмечаетъ негодное — и приходитъ къ строгой и серьезной, къ трезвой истинѣ: люби людей, люби природу, люби все живущее, не привязывайся къ временному, потому что все временное — тѣнь на бѣлой стѣнѣ, сонныя грезы, облако, гонимое сильнымъ вѣтромъ. Было, прошло и нѣту...

«Боже мой, какъ это трудно и печально!

«И какъ среди этого труда и печали отдыхаешь душою, когда вспоминаешь, что въ искусствѣ, въ наукѣ, въ жизни людей есть много наслажденія, и что три великія понятія, свойственныя людямъ — добро, красота, истина — не только источники познанія Бога, не только его ослѣпительное отраженіе, но и источникъ чистѣйшихъ и неизмѣнныхъ наслажденій. Жизнь Христа, драмы Шекспира, симфоніи Бетховена, картины Рафаэля, открытія Галилея, Ньютона, Эдиссона, храмъ Петра, Венера въ Луврѣ — это есть «откровеніе» въ смыслѣ

познанія Бога и великій источникъ утѣхи и наслажденія. Ибо все это не временное, не пробѣгающее мимо какъ дымъ, не исчезающее точно туманъ или сновидѣніе — а вѣчное, какъ вѣчно живущее на землѣ и сознающее себя».

Это не религиозное міровоззрѣніе, это моральный позитивизмъ, и слова о познаніи «великой причины бытія» попали сюда очевидно по недоразумѣнію. Передъ леденящимъ ужасомъ этого безрелигіознаго дуализма не выдержалъ и крѣпкій чувственный оптимизмъ Эртеля: «трудно и печально», говоритъ онъ, — ему страшно, и онъ слѣшпитъ назадъ, въ объятія утѣшительной тріединности — любви, знанія и искусства, на уютную землю, гдѣ все ясно и понятно. Такая вѣра не даетъ силъ ни подавлять въ себѣ страстныя влеченія, ни внутренне побѣждать страданіе. Формально Эртель, какъ мы видѣли признавалъ основою всякой дѣятельности религиозно-философскую культуру личности; изъ этого положенія онъ долженъ былъ бы вывести всю свою систему, а оно осталось у него въ сторонѣ, какимъ-то внѣшнимъ придаткомъ. Онъ думалъ, что способъ, которымъ человѣкъ рѣшаетъ для себя ту первую, метафизическую задачу — «со многими неизвѣстными», — нисколько не вліяетъ, или, по крайней мѣрѣ, не долженъ вліять, на его житейскую дѣятельность, на рѣшеніе задачи «съ очевидными данными»; онъ считалъ даже возможнымъ, чтобы человѣкъ оставлялъ ту задачу совсѣмъ не рѣшенной, безъ всякаго ущерба для своей внѣшней дѣятельности: онъ самъ себя признавалъ такимъ человѣкомъ. Но вѣдь это невѣрно; внутренняя и внѣшняя жизнь духа не разобщены; именно вѣра человѣка, т.-е. его отношеніе къ тѣмъ «неизвѣстнымъ даннымъ», — какова бы ни была эта вѣра: религиозная, матеріалистическая и пр. — опредѣляетъ всю его практическую дѣятельность. Въ этомъ незаконномъ раздѣленіи двухъ задачъ и заключалась коренная ошибка Эртеля.

Любопытно, что во время своей послѣдней болѣзни, когда смерть уже заглядывала ему въ глаза, онъ увѣровалъ иначе. Тутъ онъ не только вѣрилъ, что Богъ все устраиваетъ къ лучшему, но страстно уповалъ, что смыслъ земныхъ испытаній открывается человѣку тамъ, въ загробной жизни.

Такимъ образомъ, Эртель отвѣтилъ не на весь вопросъ жизни, а только на часть его. Но въ этихъ предѣлахъ его ученіе вѣрно угадало истину и ни разу не впало въ противорѣчіе съ самимъ собою. Все это ученіе можетъ быть резюмировано двумя любимыми присловьями Эртеля. Одно: «все благо, все добро», т.-е. *всякое* дѣланіе, вольно или невольно, ведетъ къ торжеству истины, — ея побѣда обезпечена; и другое: «въ мѣру, другъ, въ мѣру», т.-е. не ускоряй *насильственно* этотъ поступательный ходъ истины. Въ этихъ двухъ правилахъ дѣйствительно дана вѣрная тактика жизненной *борьбы*, — а ничего другого философія Эртеля и не хотѣла дать.

Письма Эртеля цѣнны, разумѣется, не только изложенной въ нихъ философіей. Онъ былъ незаурядный человѣкъ по кипучей жизненности, по свободѣ и ясности ума, по широтѣ сердца. А вся наша жизнь — не что иное, какъ излученіе нашей личности. Она излучается во всѣхъ нашихъ проявленіяхъ — въ каждомъ нашемъ жестѣ, въ каждомъ словѣ, въ каждомъ поступкѣ, самомъ незначащемъ, и въ томъ, какъ мы молчимъ, и въ томъ, чего мы не дѣлаемъ. Жизненное дѣло, нами избранное, — то, что называютъ профессіей, — только *организованная*, систематическая форма нашего излученія. Такой организованной формой была для Эртеля сначала его литературная, потомъ его практическая дѣятельность, такой же является и его философія. Но, быть-можетъ, самыя эфирныя частицы нашего духа вообще не поддаются *прочному* воплощенію, убѣгая чрезмѣрной опредѣленности цѣлей и косности формы, т.-е. слова, красокъ, дѣлъ, и самыя тонкіе наши лучи излучаются въ ежедневной жизни. Эти драгоценныя тончайшіе лучи, разумѣется, тоже не гаснутъ со смертью человѣка, но они разсѣиваются, теряютъ его индивидуальную печать и не могутъ быть собраны въ одинъ пучокъ. Есть только одинъ способъ показать ихъ въ томъ живомъ личномъ фокусѣ, изъ котораго они вышли: это — собрать письма человѣка. Такъ и въ письмахъ Эртеля есть еще другое содержаніе, не поддающееся пересказу, но не менѣе важное, нежели изложенныя въ нихъ идеи: его личность.

*М. Гершензонъ.*



АВТОБИОГРАФІЯ

А. И. ЭРТЕЛЯ

*(Письмо къ В. Г.Черткову)*



*13 іюля 1888, хут. на Грязнушь.*

Вы, вѣроятно, въ общихъ чертахъ знаете мою біографію, но я все-таки коснусь нѣкоторыхъ подробностей, чтобы показать вамъ тѣ рамки, въ которыхъ строились мои воззрѣнія.

Я родился 7 іюля 1855. Дѣдъ мой, Людвигъ Эртель, изъ зажиточной, но въ послѣдствіи разорившейся берлинской бюргерской семьи, попалъ въ 1811 г. 16-лѣтнимъ мальчуганомъ въ армію Наполеона, и въ сраженіи подъ Смоленскомъ взятъ былъ въ плѣнъ. Русскій офицеръ, Мариновскій, возвращаясь въ отпускъ въ свою воронежскую деревню, захватилъ съ собою моего дѣда. и еще мальчика-поляка и хотѣлъ записать ихъ въ свои крѣпостные. Но изъ опасенія непріятныхъ хлопотъ отецъ Мариновскаго отговорилъ его дѣлать это, и тогда офицеръ просто покинулъ мальчиковъ въ деревнѣ, самъ же опять уѣхалъ въ армію. Не знаю, что случилось съ полякомъ, темна для меня и дальнѣйшая біографія дѣда. Знаю только, что онъ въ качествѣ хорошенькаго юноши попалъ подъ покровительство сестеръ Мариновскаго, потомъ поступилъ въ одну дворянскую семью учителемъ, затѣмъ женился на крѣпостной дѣвущкѣ Мариновскаго, приписался въ мѣщане города Воронежа, перешелъ въ православную вѣру, причемъ названъ былъ Александромъ Михайловичемъ. Всю послѣдующую жизнь (умеръ въ 1865 году) онъ прожилъ управляющимъ то на водяныхъ мельницахъ въ Рыкани и на Битюкѣ, то въ господскихъ имѣніяхъ Воронежской и Тамбовской губ. Дѣтей было у него много, но въ живыхъ осталось двѣ дочери и два сына. Сыну Ивану, моему отцу, приходилось идти въ солдаты. Тогда младшій, Алексѣй, пошелъ за него охотой. Онъ съ военной службы не возвращался и чѣмъ кончилъ — неизвѣстно. Отецъ же сначала

былъ приказчикомъ въ Москвѣ у купца, а когда возвратился на родину, чтобы отбыть рекрутскую повинность, то по требованію дѣдушки не возвратился уже болѣе въ Москву, а занялъ мѣсто управляющаго въ томъ имѣніи, которымъ прежде управлялъ дѣдушка. Тамъ у одного и того же помѣщика, нѣкоего Савельева, онъ прожилъ 16 лѣтъ и, будучи лѣтъ 30-ти, женился на Авдотѣ Петровнѣ Пановой, дочери крѣпостной нянюшки другихъ Савельевыхъ и задонскаго помѣщика Беера. Необходимо сказать, что изъ дѣтей «Людвига» не только никто не учился и не выучился по-нѣмецки, но и русскую грамоту знали не всѣ. Только дядя Алексѣй да отецъ мой «кончили курсъ» въ уѣздномъ воронежскомъ училищѣ, изъ ихъ сестеръ — одна осталась совсѣмъ безграмотной, другая съ грѣхомъ пополамъ читаетъ «по-печатному».

Отецъ мой сначала отданъ былъ въ лавку воронежскаго купца Трясорукова «въ мальчики», затѣмъ, какъ я уже и сказалъ, жилъ въ Москвѣ приказчикомъ. Онъ очень любилъ читать преимущественно «историческія книги»; благодаря московской жизни и впоследствии почти пріятельскимъ отношеніямъ съ хозяиномъ своимъ, Савельевымъ, человѣкомъ довольно образованнымъ, онъ не чуждъ былъ такъ называемымъ вопросамъ политики и даже своего рода философіи. Къ прекраснымъ чертамъ его характера нужно отнести чрезвычайную трезвость ума, большую доброту при наружной суровости и довольно чуткое чувство справедливости. Къ сожалѣнію, эти достоинства часто помрачались бѣшеной вспыльчивостью, страстью къ вину и къ женщинамъ. Упомянувъ о трезвости ума отца, нужно добавить, что она почти совершенно совпадала со взглядами великорусскаго крестьянина. Ко всякаго рода художествамъ, къ красотамъ природы и поэтическимъ произведеніямъ онъ былъ равнодушенъ. Терпѣть не могъ проявленій всякой чувствительности, и даже волнуемый не чувствительностью, а истиннымъ и глубокимъ чувствомъ, сдерживалъ себя и дѣлалъ видъ, что пребываетъ холоднымъ и необщительнымъ. Что многое въ его натурѣ было родственно и понятно крестьянамъ, я заключаю изъ того, что, будучи много лѣтъ управляющимъ во время крѣпостного права, прибѣгая много, конечно, разъ

къ кулачной расправѣ и къ другимъ жестокостямъ, онъ все-таки оставилъ послѣ себя очень добрую память. Затѣмъ на сильное и одностороннее развитіе такъ называемаго «здраваго смысла» указываютъ его отличныя способности хозяина-администратора, его совершенное пренебреженіе выдумкой, романомъ, сказкой, стихами, его насмѣшки надъ чувствительностью, эффектнымъ краснорѣчіемъ, многословіемъ и всякаго рода фальшью, его любовь къ простотѣ, къ такимъ книгамъ, въ которыхъ все было бы «правда» и «настоящее», а не сочиненное.

Мать моя, выросшая въ богатомъ барскомъ домѣ, незаконная дочь помѣщика, погруженнаго цѣлый вѣкъ въ какія-то кабинетныя занятія (онъ, если когда и выѣзжалъ въ поле, то выѣзжалъ въ каретѣ) — была, въ противоположность отцу, не прочь и отъ чувствительности и отъ мечтательнаго романтизма. Особеннаго образованія она тоже не получила, но получила въ общеніи съ господами нѣкоторыя культурныя привычки и понятія. Надо думать, что въ первое же время послѣ брака встрѣча двухъ совершенно различныхъ натуръ еще болѣе обострила и насмѣшливый реализмъ отца, и мечтательную сантиментальность матери. Только долго спустя, въ матери какъ бы потухаютъ ея дѣвическія склонности, и во многихъ взглядахъ она совершенно подчиняется отцу, но нѣтъ-нѣтъ — и даже и до сей поры — въ ней пробѣжитъ иногда искорка чего-то прежняго, и вспыхнетъ романтическій огонекъ.

Нужно сказать, что намъ, дѣтямъ (мнѣ и сестрѣ — насъ только и было двое), особенно покуда мы были невелики, безъ этой материнской чувствительности и сантиментальности было бы очень холодно, съ скрытой добротою и «здравымъ смысломъ» отца. Отецъ временами былъ хорошъ, временами сердился и кричалъ — и тогда весь домъ находился въ трепетѣ. Мать же всегда была одинакова: ласкова, немножко грустна, немножко однообразна. Несмотря на измѣны и на другіе изъяны супружества, въ чемъ, несомнѣнно, много разъ былъ повиненъ отецъ, мать всегда была одинаково добродѣтельна, грустна и ласкова. И религіозна гораздо болѣе и горячѣе отца, что тоже нужно прибавить.

Вы, конечно, поймете, что посвятилъ я столько мѣста характеристикамъ моихъ родителей не даромъ. Я глубоко вѣрю въ наслѣдственность ума, характера, склонностей, чувствъ, и ясно вижу въ себѣ тѣ струи, которыя исходятъ отъ матери и отъ отца, то скрещиваясь, то неразрывно переплетаясь, ослабѣвая и усиливаясь. Затѣмъ я вижу, что много изъ наслѣдственныхъ этихъ «струй» исчезло уже въ пору сознательной, а часто и безсознательной работы ума и тѣхъ вліяній, которымъ я подвергся позднѣе. Тѣмъ не менѣе первоначальная основа цѣла, и что бы ни ткала на этой основѣ послѣдующая жизнь — наслѣдственные вліянія не исчезнуть и все будутъ окрашивать въ свой цвѣтъ. До извѣстной степени, конечно. Вообще — разъ ужъ подвернулось это ткацкое сравненіе съ основой — мнѣ представляется, что душа моя при рожденіи составлялась изъ двухъ прядей: ярко-красной и ярко-голубой. Затѣмъ наступило собственное сознаніе — книги, люди, природа, страсти — это разноцвѣтнѣйшія нити, которыми жизнь заткала основу. Изъ всего получился свой особый, не похожій ни на голубое, ни на красное цвѣтъ, но все-таки съ голубымъ и краснымъ отгѣнкомъ.

Перехожу опять къ разсказу.

Въ 1867 г. отецъ, накопивши отъ 20-лѣтней «службы» у Савельева, Охотникова и Кряжова рублей 700, снялъ въ аренду вотъ тотъ хуторокъ, на которомъ я вамъ пишу теперь. Но послѣ управленія очень большими имѣніями ему стало скучно хозяйничать на 160 десятинахъ. Къ тому же оказалось, что и 700 р. недостаточно для веденія безбѣдной жизни и для платежа аренды. Тогда они съ матерью рѣшили искать отцу опять мѣсто управляющаго, а матери — хозяйничать на хуторѣ. Мѣсто было тотчасъ же предложено въ богатомъ имѣніи Филипповыхъ за 40 верстъ отъ хутора. Отецъ взялъ меня туда, чтобы пріучать къ хозяйству, сестра осталась съ матерью. Я съ отцомъ прожилъ до осени 1873 года.

Упомяну о хлопотахъ родителей, предпринятыхъ для моего образованія. Выучила читать меня мать; писать я, кажется, самъ выучился, сначала копируя съ книгъ печатныя буквы. Затѣмъ мой крестный, тотъ Савельевъ, у котораго отецъ очень

долго былъ управляющимъ и о которомъ я уже упоминалъ, предложилъ отцу взять меня къ себѣ въ домъ, обѣщаясь дать мнѣ образованіе, «какъ родному сыну» (дѣтей у него въ то время не было). Отдали. Жена Савельева была французенка, актриса изъ какого-то бульварнаго театра въ Парижѣ, плохо и даже почти совсѣмъ не говорила по-русски, была совершенной красавицей и, завезенная Савельевымъ въ Россію, очень скучала. Она привязалась ко мнѣ, какъ къ игрушкѣ, рядила меня, закармливала лакомствами... Ученье ограничивалось тѣмъ, что «крестный папа» иногда говорилъ, что означать такое-то французское слово, и, спасибо ему, научилъ меня отличнѣе читать по-русски. Остальное время я бѣгалъ съ дворовыми мальчишками, сидѣлъ около «Сильвіи Ивановны», перелистывая книжки съ картинками, гулялъ въ саду и въ огромномъ цвѣтникѣ, игралъ въ солдатики, сладко ѣлъ и пилъ. Потомъ Савельевъ обвинчался съ Сильвіей, и къ нимъ стали ѣздить окрестные помѣщики, а также и они стали выѣзжать. Потомъ пріѣхали изъ Франціи отецъ и мать Сильвіи — какіе-то Пурмантье — небогатые буржуа, ошеломленные раздольемъ и изобиліемъ жизненныхъ припасовъ въ богатой помѣщичьей семьѣ. Живо помню м-г Пурмантье, огромнаго и толстаго мужчину, помѣшаннаго на ѣдѣ. Для него по особенному рецепту откармливали свиней, индѣекъ, гусей, куръ, телятъ, кроликовъ. И опять-таки съ какими-то особенными приемами онъ самъ убивалъ всю эту живность, а иногда и готовилъ. Разъ, напримѣръ, онъ всю ночь напролетъ просидѣлъ съ вертеломъ, жаря индѣйку, завернутую въ толстые куски сала... Такъ вотъ этотъ-то обжора вызвался обучить меня по-французски. Правда, по-русски онъ ни слова не зналъ, а я, кромѣ какихъ-нибудь двухъ десятковъ словъ, ничего не понималъ по-французски, тѣмъ не менѣе я промаялся съ нимъ что-то довольно долго. Употреблялся такой учебникъ, въ которомъ русскія слова напечатаны были французскими буквами и наоборотъ... Не помню ужъ, осталось ли что-нибудь у меня отъ этихъ странныхъ уроковъ.

Тѣмъ временемъ французы завели на Плавицѣ (такъ называлось имѣніе) цѣлое море интригъ, сплетенъ и козней всякаго рода. Сильвія Ивановна изъ скучающей и добродушной жен-

щины превратилась въ несносную помѣщицу. Отецъ мой не могъ преодолѣть новыхъ порядковъ, жестоко разбранился съ бывшимъ пріятелемъ своимъ, изругалъ какъ нельзя хуже всѣхъ «французовъ»... Ему было отказано отъ мѣста, а вмѣстѣ съ тѣмъ и я былъ обращенъ «въ первобытное состояніе».

Не помню, что говорилъ отецъ, когда меня возвратили — кажется, что онъ самъ потребовалъ этого возвращенія. Мать же была глубоко огорчена крушеніемъ своихъ надеждъ: она спала и видѣла «Сашу» образованнымъ. При расчетѣ бывший «пріятель» оказался довольно гнуснымъ человѣкомъ — онъ не отдалъ отцу 700 рублей, которыя въ пору пріятельства взялъ у него въ долгъ, мотивируя это тѣмъ, что ты де и такъ, должно быть, наворовалъ. Это, однако, было единственное сбереженіе, сдѣланное отцомъ. Тогда мы почти годъ бѣдствовали на квартирѣ у одного знакомаго мужика, а насъ было: я съ сестрой, семидесятилѣтній старикъ дѣдушка съ бабушкой и отецъ съ матерью. Помню и годъ 1863. Такъ тянулось до той поры, пока отецъ опять получилъ мѣсто, у Кряжова въ Бобровскомъ уѣздѣ, а затѣмъ годъ спустя у Охотникова въ Усманскомъ уѣздѣ. Тутъ случилось какъ-то такъ, что С—въ при посредствѣ О—ва примирился съ отцомъ и отдалъ ему долгъ. Между тѣмъ О—въ выстроилъ винокуренный заводъ и спустя короткое время вздумалъ курить вино, утаивая акцизъ. Послѣ это кончилось для него печально, и онъ принужденъ былъ заплатить 112 т. штрафа... Отецъ, однако, не захотѣлъ участвовать въ мошенничествѣ и ушелъ отъ О—ва. Вотъ тутъ-то, опять послѣ годового пребыванія на квартирѣ у мужика, и снятъ былъ въ аренду хуторъ на Грязнушѣ. Мать пользовалась каждымъ подъемомъ нашего «благосостоянія», чтобы готовить меня въ образованные люди. На квартирѣ, разумѣется, было не до меня, но «на мѣстахъ» — одинъ разъ меня чему-то училъ пьяный конторщикъ, другой разъ — правда, три или четыре мѣсяца — «гувернантка», дѣвица изъ крѣпостныхъ, но почему-то съ институтскимъ образованіемъ; третій разъ, когда я гостилъ у бабушки по матери, со мной занимались барчуки-правовѣды. Когда, такимъ образомъ, «подготовка» моя, по мнѣнію матери, была закончена, она настояла, чтобы отецъ отдалъ меня въ Воро-



нежскую гимназію. Отець склонился и повезъ меня въ Воронежъ. Все шло на первыхъ порахъ хорошо. Выправлены были всѣ докумены; помню, что ходили мы къ какому-то педагогу и послѣ долгаго ожиданія въ передней были допущены, и отецъ сдалъ лакею два фунта чаю и голову сахару; помню, еще кому-то дали взятку — пять рублей; помню, что было примѣрное испытаніе меня какимъ-то свѣдущимъ человѣкомъ, и я найденъ годнымъ въ первый ли, во второй ли классъ. На грѣхъ отецъ встрѣтился съ старымъ своимъ товарищемъ по уѣздному училищу и закутилъ съ нимъ. Пили, пили, куда-то ѣздили и возвращались по ночамъ. Приходили къ намъ на квартиру какія-то растрепанныя дѣвицы... Отцу отвсюду не совѣтовали отдавать меня въ гимназію: «Будетъ образованный — родителей не станетъ кормить»; приводились примѣры... Отець подумалъ, подумалъ, да, не дожидаясь экзамена, и увезъ меня домой. Съ тѣхъ поръ мать уже махнула рукой на мое образованіе, и я пользовался совершенной свободой дѣлать что мнѣ угодно: играть съ деревенскими ребятами, читать когда и что захочу, шляться гдѣ захочу — лишь бы не пропускать ужиновъ и обѣдовъ.

Отмѣчу черту, особенно свойственную мнѣ съ тѣхъ поръ, какъ хорошо себя помню. Я обладалъ очень пылкимъ воображеніемъ, Благодаря ли тому, что едва ли не первой книгой, мной прочитанной, была толстая исторія Наполеона съ картинками Гораса Вернета, это не въ мѣру развитое воображеніе преимущественно работало въ «военномъ» направленіи. Я былъ полководцемъ, воиномъ, генераломъ, завоевателемъ; рубилъ палкой несмѣтное количество головъ — крапиву и лопухи, побѣждалъ цѣлыя страны: гумно, уединенный стогъ сѣна, курганъ въ полѣ. Не пересчитать, сколько въ моемъ мозгу прошло блестящихъ армій, знаменъ, турнировъ, сраженій, триумфальныхъ въѣздовъ... Но рядомъ съ такими смертоносными наклонностями я былъ очень жалостливъ и нервень. Однимъ изъ страшнѣйшихъ воспоминаній моего дѣтства осталось такое происшествіе: дворовые ребята поймали какую-то собаку и отрубили ей хвостъ. Я отбивалъ собаку у учителей, бросался на нихъ, кричалъ, валялся по снѣгу, и когда увидалъ кровавый

кусокъ на снѣгу, упалъ почти безъ чувствъ, — по крайней мѣрѣ, меня на рукахъ принесли домой. А между тѣмъ мнѣ было нипочемъ убивать миллионы людей, дабы составить себѣ славу знаменитаго полководца.

Когда отецъ взялъ меня «пріучать къ хозяйству», мнѣ было въ то время, какъ я уже сказалъ, 13 лѣтъ. Мое образованіе состояло въ слѣдующемъ: я хорошо читалъ, писалъ съ крупными ошибками, зналъ четыре правила ариѳметики, зналъ «Исторію Наполеона», «Кошечя Безсмертнаго», «Путешествіе Пивагора», «Стеньку Разина» Костомарова, 2-й томъ «Музея иностранной литературы», какой-то томъ «Ста русскихъ литераторовъ», хрестоматію Галахова — впрочемъ, вторую половину: начало было утеряно; «Пѣсни Кольцова», «Сочиненія Пушкина», старинный конскій лѣчебникъ, священную исторію съ картинками, ком. Чаадаева «Донъ Педро Прокодуранте» и т. д. Кромѣ того, охотниковскій шорникъ Ѳедоръ превосходно рассказалъ мнѣ въ нѣсколько вечеровъ Юрія Милославскаго, да за годъ до поступленія моего къ отцу я прочиталъ «Тысячу душъ» Писемскаго и сочиненія Гоголя. Религіозное мое воспитаніе заключалось въ томъ, что я зналъ «Вѣрую» и «Отче нашъ», а также рассказы изъ вышеупомянутой священной исторіи, особенно о продажѣ Іосифа братьями: это потому, что часто читалъ его вслухъ неграмотной бабушкѣ, всегда плакавшей во время этого чтенія, вспоминая своего сына Іосифа, умершаго юношей. Затѣмъ я самоучкой выучился читать по-церковному и нѣсколько разъ перечиталъ «Кіевскій Патерикъ» и нѣсколько книгъ Четьи-Минеи. Кажется, читалъ и Евангеліе стараго изданія, 20-хъ годовъ — ясно не помню. Не помню также никакихъ катихизисовъ, хотя готовя меня въ образованные, вѣроятно, заставляли учить что-нибудь въ этомъ родѣ. Постился я и исполнялъ всѣ обряды подобно отцу и матери, хотя безъ особеннаго рвенія и безъ сердечнаго участія. Вспоминаю только короткій моментъ — не болѣе полугода, — когда религіозное чувство оживилось во мнѣ до горячности и даже до желанія и до попытокъ стяжать мученическій вѣнецъ; не упомяну, чѣмъ это было возбуждено, но такой процессъ шелъ рядомъ и переплетался съ другимъ — съ сомнѣніями въ существованіи Бога,